



Георгий ИВАНОВ

Страх перед жизнью

Константин Леонтьев и современность

На каком-то собрании эмигрантской молодежи, той «передовой» молодежи, которая, окончательно отбившись от «отцов», собирается переделывать Россию (как только представится случай!) на свой особый «национально-интернациональный» лад, на одном из таких шумных и бестолковых парижских собраний я услышал с трибуны слова:

«Нынешняя Россия мне ужасно не нравится. Не знаю, стоит ли за нее или на службе ей умирать? Я люблю Россию царя, монахов и попов. Россию красных рубашек и голубых сарафанов, Россию благодушного деспотизма».

«Здорово говорит, — сказал сидевший рядом краснощекий младоросс или третьеросс. — Особенно про сарафаны, здорово».

«Это он Леонтьева цитирует», — возразил другой, долговязый и хмурый. «Леонтьева? А кто такой Леонтьев?» — заинтересовался третий, веснушчатый. Из троих — двое о Леонтьеве просто не знали.

Но дух его веял над ними.

* * *

Царствование Александра III. Осень. Грустный русский пейзаж: березка на фоне вечернего неба, «журавель» колодца, забор, лесок, проселочная дорога. Дальше белые стены и золотые главы Лавры.

В монастырской гостинице, направо от входа, «графские номера». Низкие комнаты, старая мебель, киоты, лампадки, занавесочки из голубой марли. В номерах этих недавно поселился приезжий из Оптиной пустыни, бывший русский консул в Тур-

ции, малоизвестный и мало читаемый писатель. Он решил переиздать здесь, в Лавре, начал устраиваться в «графских номерах»: вот и занавесочки голубые он повесил. Долго добивался такого обязательно цвета, вот такой именно марли. Перевез книги, расставил по-своему мебель, запасся дровами на зиму. Но зимовать ему здесь не суждено: он умирает. Совсем недавно он принял «чин смирения», тайный постриг, но умирает он непокорно. Из всех физических и душевных сил он борется с одолевающей его смертью. Физических сил в нем мало — это шестидесятилетний человек со здоровьем, вконец надорванным затяжными мучительными болезнями. «Бессонница, страшные мигрени, поносы, язва желудка, трещины на руках и ногах, воспаление лимфатических сосудов», — вот далеко не полный список страданий, отравлявших последние годы его жизни. Но нравственная сила его велика, хотя нравственных мук в его жизни было не меньше, чем мигреней и язв.

Оттого он так тяжело и умирает. Огромный запас нерастратченных душевных сил душит его, распирает, корчит, как демон корчит бесноватого. «Надо покориться», — в жару, в полубреду уговаривает он себя и сейчас же сам себе возражает: «Еще поборемся», опять: «Надо покориться» и снова: «Еще поборемся»...

Двадцатилетняя Варька — крестьянка-воспитанница, недавно выданная им замуж, — ухаживает за больным, меняет компрессы, подает ему питье. Она очень красива, смугла, стройна. На ней красный сарафан. Это умирающий велел его надеть. Больше всего этот шестидесятилетний, измученный, принявший тайное монашество «бывший консул» любит внешнюю красоту жизни.

* * *

Константин Леонтьев всю жизнь был неудачником, неудачником он и умер. Ему все не удавалось: карьера врача, дипломатическая служба, литература, любовь, дружба — все. Материальные невзгоды вечно его разбирали. «Идеал» его — «иметь каких-нибудь 75 рублей в месяц до гроба» — так до гроба и не осуществился. «Смотри, ты лишен и того, что имеют многие скотоподобные люди, и у тебя нет и не будет ни 75, ни 50 рублей в месяц, верных и обеспеченных», — пишет он сам о себе. Романы его критика обходит молчанием, статей его Катков не хочет печатать, в отчаянии и озлоблении он уничтожает свою трилогию, над которой долго и много трудился. Семейная жизнь

его ужасна: он, «эстет», ставивший красоту «выше религии», ибо «красота для всего в мире», а религия «только» для человека, женится в ранней молодости на полуграмотной мещанке. Жена впадает в слабоумие, и «грязь жены» каждодневно преследует человека, требующего от жизни прежде всего «поэзии».

«Я не только ищу поэзию, но и нахожу ее», — самонадеянно пишет он в юности, потом только ищет, не находя, потом и не ищет больше. Опыт жизни показал, что на «поэзию» и на «красоту» полагаться нельзя, и Леонтьев бросается к Богу. Но и в религии нет ему никакого утешения. Бог Леонтьева — страшный и безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста. «А когда в 1869, 70 и 71 годах меня поразили один за другим удар за ударом, — тогда я испытал вдруг чувство беспомощности перед невидимыми и карающими силами и ужаснулся почти до животного страха». Даже имение свое, маленькую усадьбу, единственное место на земле, где он отдыхал душой, он вынужден продать. И вот измученный, больной, одинокий, он умирает.

Умер Леонтьев 12 ноября 1891 года. Можно было бы сказать: умер всеми забытый, если было бы кому о нем забывать. Но таких, в сущности, почти и не было.

* * *

Есть люди, есть события, настоящее значение которых останется долгое время скрытым даже от самого внимательного взгляда. Только слепая интуиция может иногда предсказать до срока то, что со временем станет очевидным. Но интуитивные, бездоказательные предсказания, даже гениальные, почти никогда не достигают цели. Они как бы невидимое отражение невидимого луча. Видимым станет луч, заметят и отражение — не раньше.

Примерно к 1912 году — моменту выхода собрания сочинений Леонтьева и подробного биографического сборника о нем — место его определилось. Почетное место в русской духовной жизни, хотя и не в первых рядах. К Леонтьеву была применена та благодушная универсальная оценка, которую так любил на своем ущербе затянувшийся до самого объявления мировой войны девятнадцатый век. По оценке этой Леонтьев оказался даровитым писателем и оригинальным мыслителем, который вследствие неудачной судьбы, особенностей времени и собственного характера не сыграл той роли, которую мог бы сыграть.

Россия шла к конституционной монархии, к либеральной свободе, к habeas corpus, хотя и по ухабам, но шла. Духовно и экономически она, несмотря на рогатки, расцветала, вера в про-

гресс трепетала в каждой клеточке русской жизни, несмотря на мрачные (временные, думали тогда!) ее стороны. Кто бы в это время стал идти за Леонтьевым, утверждавшим до хрипоты в голосе, что «уравнительно-либеральный прогресс есть антитеза процессу развития»?

Можно было все это читать, обсуждать в религиозно-философском обществе, можно было любоваться остротой мысли и оригинальностью положений, но действие... Какое тогда могло быть от Леонтьева действие? Да никакого.

И вот нет ни девятнадцатого века, ни духа его, ни веры в прогресс, ни трезвых оценок, ни «логики истории». История вдребезги, ударом красноармейского сапога, разбила все полки и полочки русской культуры, где все так аккуратно, так справедливо было расставлено. И в этом хаосе, в этом «мире явлений, где нет ничего достоверного — ничего, кроме конечной гибели» (слова самого Леонтьева), точно склянка с ядом, простоявшая закупоренной полвека и вдруг в суматохе разбитая, — открылся настоящий Леонтьев. Встал во весь рост своей одинокой мысли, своей трагической судьбы, своего отчаяния, своих странных надежд. Недаром, умирая, повторял он так настойчиво: «Еще поборемся». В самом деле, наступает для него как будто время «еще побороться».

Розанов, прочтя впервые Ницше, воскликнул: «Да это Леонтьев, без всякой перемены». Если оглянуться на то, что делается в мире, если потом перевести взгляд на русское духовное подполье, посмотреть, что творится в душах подрастающего «вне времени и пространства» русского нового поколения, послушать их разговоры в ночных парижских кафе или на религиозно-политических диспутах — как не повторить за Розановым: «Да ведь это Леонтьев».

Леонтьев. Только не «без перемены». Перемена есть, и огромная. Вечно этот самый одинокий из русских мыслителей искал соприкосновения с жизнью. Искал, но так и не нашел. Теперь декорации переменялись. Для доброй половины «активной» части человечества, и в частности для доброй половины русской молодежи, то, чему учил Леонтьев, очень близко и знакомо. Но еще больше, чем его противоречивые идеи, близка современности сама его личность.

* * *

Если перечесть биографию Леонтьева, если потом ознакомить с его взглядами на жизнь, на церковь, на государство, на

личность, мы увидим, как близко все это к самой жгучей, самой современной современности.

О какой современности идет речь, я думаю, ясно само собой. На пятнадцатом году большевистской революции, в пятнадцатую годовщину Версальского договора — на вопрос, что такое современность, мы можем ответить точно. Нравится нам это или нет, мы должны признать, что современность — не столько английский парламент, сколько германский хаос, не Ватикан, а фашизм, не новые мировые демократические республики, а огромное, доведенное до предела страданий и унижений планетарное «перекасти-поле», где, как клеймо на лбу, горят буквы — СССР. Ватикан, английский король, демократия, вековая культура, правовой порядок, совесть, уважение к личности — все это скорее «обломки прошлого», существующие лишь постольку-поскольку. Настоящее — Рим, Москва, гитлеровский Берлин. Хозяева жизни — Сталин, Муссолини, Гитлер. Объединяет этих хозяев, при некотором разнообразии форм, в которых ведут они свое «хозяйство», — совершенно одинаковое мироощущение: презрение к человеку.

И вот такое же точно презрение к человеку — страстное, органическое, неодолимое, «чисто современное» презрение — было в крови у родившегося в 1831 году и умершего в 1891 году калужского помещика и консула в Андрианополе.

* * *

Было два Леонтьева.

Был необыкновенно одаренный, увлекающийся, страстный, самолюбивый человек. Он любил власть, блеск, деятельность, успех — и глубоко страдал, видя, что, несмотря на всю свою исключительность, он никем не оценен, не находит в жизни никакого применения, не имеет и того, что «имеют многие скотоподобные люди». Сложные душевные кризисы сопровождали этот разлад между тем, что «должно было бы быть», и тем, что было в действительности. Ясного взгляда на жизнь этот Леонтьев не имел — это для него «в мире явлений нет ничего достоверного, разве кроме конечной гибели». Это он пишет отчаянно: «Выручайте, выручайте, друзья, а то очень плохо», — хотя отлично знает, что нет у него таких друзей, которые могли бы его «выручить», как-то ему помочь, чем-то обнадежить. Леонтьев-человек сам не знает, что же — любит он Россию или презирает ее, верит в Бога или только боится «загробного возмездия», способен на «высокую страсть», о которой романтически грустит в разго-

ворах и письмах, или такова уж его любовная «вера» — кроме бесследно проходящих поверхностных увлечений никогда не знать серьезного чувства к женщине. Леонтьев не может отдать себе во всем этом отчета: когда он пытается это сделать, в его интонациях слышна растерянность, в голосе звучит глубокое, неодолимое сомнение. Россия, Бог, византийство, эстетика — все, о чем Леонтьев-теоретик так много, так настойчиво и «планомерно» говорит в своих книгах, — для Леонтьева-человека большого значения не имеет, хотя он и скрывает это, скрывает даже от самого себя. Но, по существу, — от юности до последних дней — одна только страсть наполняет Леонтьева, растворяя и покрывая все остальные: «Тоска по жизни и блестящей борьбе».

«Я все рвусь мечтой то на Босфор, то в Герцоговину или Белград, то в Москву и в Петербург, и мне иногда тяжело в этой тишине и в этом мире. Оттого я и сюда помолиться приехал, чтобы заглушить тоску по жизни и блестящей борьбе».

Это пишет из монастыря полубольной, пожилой, замученный жизнью Леонтьев. Весь он в одной этой фразе. Вот, приехал, молится, бьет поклоны, ведет с «братьями во Христе» благочестивые беседы, готовится принять монашество — и все для того только, чтобы «заглушить тоску» по «борьбе, по жизни». Веры тут, конечно, немного, но тоска слышится огромная. Эта «тоска по жизни» не уймется даже на смертном одре. В мучительной переключке — «надо покориться — еще поборемся», которую со страхом слушает у постели умирающего красивая Варька в красном сарафане, — слышна та же тоска... Леонтьев-человек, когда поверхностное «ницшеанство» его ранней молодости, самонадеянное «все позволено» не обжегшего еще лапок, гордого, даровитого, жадного до впечатлений птенца, жалевшего, что вдруг «не будет на моем веку ни одной большой войны», сойдет с него под жестокими ударами жизненных разочарований, — как-то сразу, сразу, с размаху опустится в жесточайший душевный мрак.

«Как душно везде. Даже великие люди — как кончали они? Смертью и смертью. К чему же привела их жизнь? Как жива передо мной картина, где Наполеон в круглой широкой шляпе и сюртуке стоит, заложив руки за спину.

Как ему скучно! И еще картина: m-me Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Еще я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке. Как душно в его комнате. Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано. Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто ее муж. И

это еще все великие люди. Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?»

Этот душевный мрак, этот страх, этот ужас перед жизнью — очень искренен, но — хоть до самого конца дней Леонтьева он остается не исцеленным — от него есть лекарство. Тоска Леонтьева по жизни, по блестящей борьбе совсем другой природы, чем «скука Наполеона», чем «ужас старого Гете, женатого на кухарке», которые Леонтьев так пронзительно изобразил. То, что сдает Леонтьева, «не менее больно, но гораздо более мелко». Перед Наполеоном, зевающим от скуки на св. Елене, действительно предел того, что больше некуда. Но Леонтьев оттого и скучает, оттого и бьет поклоны на монастырской всенощной, оттого и ужасается, что нет для него наполеоновских «обстоятельств», что он «Кромвель без меча», был бы меч, были бы обстоятельства — он бы не скучал, он бы знал, что делать. «Это тоже очень современная психология, психология нынешних хозяев мира». Есть рассказ Анжелики Балабановой о том, как скучал в Женеве молодой Муссолини, как он боялся жизни, как она, Балабанова, провожала его вечером домой, потому что «идти одному ему было страшно».

Страшно ли теперь Муссолини, когда он при крике «фашио!» проходит с поднятой рукой перед своими легионами, не ужасается ли он? Вопрос праздный: ему просто некогда о таких пустяках думать.

Та же совершенно двойственность видна и в Леонтьеве. Нет «обстоятельств», нет и «жизни». Появились обстоятельства или намек на них, и совершенно меняется и человек, и его психология. На несколько месяцев Леонтьев делается хозяином забытого «Варшавского дневника», имевшего человек двести читателей. Каким «поразительным» журналистом он сразу стал, какие нотки «казенной твердости» сразу зазвучали в его статьях! Владимира Соловьева «он просто советует выслать из пределов России за вредное направление». Вообще, как только Леонтьев чувствует за собой — в должности консула, редактора, главного сотрудника вот этого «Варшавского дневника» — хоть какую-нибудь «государственную опору», он сейчас же дополняет доводы ума и таланта доводами административными, последние даже предпочитая. В этом смысле то, что жизнь Леонтьева не удалась, для него как писателя было спасением... В условиях одиночества процвели высшие, благородные стороны его натуры, грубым сторонам суждено было заглохнуть. Получи он сильное влияние, высокий пост, трибуну, вероятно, случилось бы наоборот.

Константин Леонтьев был писателем большого таланта, человеком огромных страстей. Душа его — сложная и большая душа — искренно рвалась к Богу, к высокому, вечному. Но на ногах у него висел тяжелый груз — тот же, что у всего послевоенного человечества.

Он, так много бивший поклонов по монастырям, так подробно трактовавший религиозные вопросы, — по инстинкту, в глубине души, не верил ни во что, кроме материальной силы. Он по-настоящему верил и любил только «силу оружия» или «силу принуждения», «силу православия» или «силу государственной идеи», но прежде всего и главным образом силу. Этим и объясняется невозможность для него «привиться» в духовном, несмотря на «материализм», девятнадцатом веке и почти полное совпадение с не верящим «ни в Бога, ни в черта», особенно не верящим в человека, — веком нашим.

Совпадение политических теорий Леонтьева с «практикой» современности прямо поразительно. Не знаешь иногда, кто это говорит — Леонтьев, или гитлеровский оратор, или русский младоросс. Порой совсем Муссолини, дающий интервью Людвигу, порой — и это странно только на первый взгляд, ибо подоплека у фашизма, гитлеризма, большевизма, что там ни говори, одна, — в ровных, блестящих логических периодах архиконсерватора, которого за чрезмерную правизну не хотел печатать Катков, слышится — отдаленно — Ленин.

«Важно не племя, а те духовные начала, которые связаны с его силой и славой». «Важен не народ, а великая идея, которая владеет народом».

Но «великие идеи» и «духовные начала» могут расцвести «не иначе как посредством сильной власти и с готовностью на всякие принуждения». Это общие положения. Потом — касающиеся специально России.

«Без страха и насилия у нас все пойдет прахом». «Никакая пугачевщина не может повредить России так, как могла бы ей повредить очень мирная, очень демократическая конституция». «Россию надо подморозить, чтобы не гнила». И в заключение: «Нам, русским, надо совершенно сорваться с европейских рельс и, выбрав совсем новый путь, стать во главе умственной и социальной жизни человечества». Такие выписки из Леонтьева можно делать без конца. Все, что он говорит, нам уже знакомо заранее, и не из его статей, а непосредственно из окружающего нас хаоса и насилия, или «цветущего неравенства», — кому как нравится звать. Все знакомо — и «духовные начала», расцветающие «посредством принуждения», и конституции, которые «опас-

ней пугачевщины», — и на совет «сорваться с рельс» и «стать во главе» с сердечным удовлетворением мы можем сказать: Есть. Уже сорвались. Уже стали.

«Пицца моя крута», — говорит о себе Леонтьев. Эта (действительно крутая, нельзя спорить) пицца стала для послевоенного несчастного человечества опостылевшим ежедневным «пайком». С самого августа 1914 года до наших дней расхлебывает он эту «крутую пиццу» и все не может расхлебать. Что расхлебывать придется долго — сомнений нет. Интересно было бы знать, как долго, — вплоть до «конечной гибели» или все-таки на некотором расстоянии до нее. Но на этот вопрос не могут ответить никакие «слова», никакие теории — ни «эгалитарно-уравнительные», ни «неравноцветущие». Ответит на это жизнь.

* * *

Теплятся лампадки в монастырской гостинице. Неслышными шагами приходят послушники. Шумит у окна какая-нибудь трогательная, осыпающаяся «нестеровская» березка...

У окна, за письменным столом, сидит старый больной человек, приехавший сюда «заглушить тоску». Он что-то пишет. На его красивом породистом изможденном лице надменность отчаяния: что там ни пиши, как сжато ни формулируй, какие блестящие парадоксы ни рассылай — ясно одно: жизнь не удалась.

Жизнь не удалась. «Блестящая борьба» не состоялась. — «Надо покориться». Но покориться он органически не может. Если бы «обстоятельства», если бы Кромвелю да меч! Но нет меча, нет обстоятельств, нет даже «обеспеченных семидесяти пяти рублей». Гордость. Отчаяние. Тихие послушники. Лампадка. Вечер, березка на чахлом небе. Там, в небе, — грозный, безрадостный Бог усомнившегося в неверии атеиста, карающая темная сила. Здесь — неудавшаяся жизнь, подступающая смерть. Утешения нет ни в чем. Разве «красотой», по старой памяти, не то что утешиться — развлечься. Вот именно такими занавесочками, из такой обязательно марли. И со страстью, всегдашней своей страстью — о чем бы ни шло дело, — Леонтьев пишет в Москву друзьям: описывает цвет, качество, плотность требующейся ему марли. С тем же «ясновидением», с каким предчувствует послевоенную Европу, описывая эту марлю в мельчайших подробностях: должна непременно быть в Москве такая. Друзья долго ищут, наконец действительно находят — в гробовой лавке. Это специальный товар для покойников. И другие разные

совпадения, предчувствия, приметы окружают в его последние дни Леонтьева.

Вдруг обнаруживает он, что все важные события его жизни происходили в начальные годы десятилетий, и вот теперь как раз 1891 год. Какое же важное событие ждет его? Тайный голос подсказывает: смерть.

Вообще в последние дни Леонтьева вокруг него, как вокруг медиума, «потрескивает» в воздухе. В щели патриархальных «графских номеров» дует ледяной ветер метафизики. Как ни топят, Леонтьеву все холодно — из-за этой усиленной топки он и умирает: разогрелся, снял кафтан, сел у окна, продуло — воспаление легких. Да, «в воздухе» вокруг как-то «неблагополучно» и не помогают ни лампадки, ни ладан, ни долгие земные поклоны. Как будто какое-то иное начало мстит Леонтьеву за его преданность осязательной силе, все равно — «силе оружия» или «силе церковной идеи». Или, может быть, человеческое в нем сводит счеты с его презрением к человеку. Во всяком случае, смерть его окружает некая мистика, та мистика, которую он так любил как добавочное декоративное средство к «православию», «самодержавию», «византийству», но в которую, в глубине своей «нищепанской» души, вряд ли верил, пока был силен и здоров.

Умирал Леонтьев тяжело, непокорно, с тоской — не так, как умирают верующие христиане. О смерти и жизни его выразительно сказано в кратком слове Розанова:

«Прошел великий муж по Руси — и лег в могилу. И лег и умер в отчаянии с талантами необыкновенными».